

«Прозаик прозу долго пишет, он разговоры наши слышит, при этом отпивает чай, при этом льет такие пули, при этом как бы невзначай следит, как ты сидишь на стуле...» Это написал молодой Кушнер о молодом Битове.

Что сделало Битова первым прозаиком полузадушенного, несчастного поколения, к которому он принадлежит? Да, и культура, и цитатность, и рефлексия, но в первую очередь — величайшая интеллектуальная честность. Двадцать лет не печатавшийся на родине «Пушкинский дом» принес Битову мировую славу. Последующие книги — сборники очерков о путешествиях, роман-пунктир «Улетающий Монахов» и роман-трилогия «Ожидание обезьян» укрепили его репутацию самого жестокого и язвительного летописца безвременья. Битова можно не любить. Можно на дух его не переносить. Можно говорить, что он всю жизнь смотрит на собственный пупок и отрывается от этого занятия только ради того, чтобы левой пяткой почесать правое ухо. Замечательно определил его один собрат по перу: «После первых пяти страниц Битова мне хочется сказать: успокойся, Андрей, ты умный, я верю, дальше можно по-человечески... Но нельзя не вздрагивать от внезапно-точных, убийственно-едких битовских «комментариев к общеизвестному», как называется самая прелестная и остроумная его книга.

Собеседник. — 1996. — № 15. — с. 10

— Как вы считаете, ваши пороки и добродетели уравниваются друг друга?

— Думаю, да... Если вы видите, что я не безумен, значит, я сбалансирован.

— Вы часто врете?

— В принципе как бы не вру никогда. Но это означает, что вру всю жизнь. Куда мне деться: ведь я — это не совсем я... Вот если я пишу, это пишет же не Битов Андрей Георгиевич, это пишет герой, а у героя есть ситуация... Я не знаю, кто я такой. И это меня так занимает, что я поэтому и пишу.

— Вы что-то получаете как президент Пен-центра?

— Слушайте, я не за деньги работаю! За деньги работают рабы, а люди работают, потому что работа в них работает.

— От какого предрассудка вы хотели бы избавиться?

— Может быть, это не предрассудок... Я думаю, что обладаю определенными качествами. Это достоинство, честь и точность. А может быть, у меня их нет.

— Чего вы не переносите в других?

— Глупости, может быть... Глупость бывает очень многообразна, как любовь. Есть глупость, которую я поцелую

такие! Это уже не хамство, а пошлость, будто я слышу не голоса, а голосовку.

— Предположим, вас сбита машина и вы умираете в полном сознании. О чем вы будете сожалеть? О непрожитом? О ненаписанном?

— Может быть, мне было бы стыдно за пережитое, но я не хотел бы стыдиться в последнее мгновение. Хорошо бы умереть с достоинством. Есть такой псалом — не пса-

— Я часто плачу, и, думаю, ничего хорошего в этом нет — это последствия операции и не полный порядок. Я не хотел бы рыдать, как Горький. Но как только я полностью приближу к себе ситуацию — я уже недалеко от плача. Вот я вас держу на поводке — а хотите, приближу и зарыдаю, прямо сейчас?

— Да.

— Фиг вам.

А вообще в Америке в каком-то доме творчества я пытаюсь сочинять и достаю книгу с полки. Начинаю читать с какого-то места. Книга про Цветаеву, по-английски. Я не обожатель этого поэта, хоть и знаю, что она гениальна. И вдруг меня начинают душить слезы... Или там же по американскому телевидению исполняют церковную музыку Рахманинова, попутно дают информацию о нем, мелькают мезонины, платья, усадьбы, — и я думаю: как же можно было, как же можно... И если хоть сколько-нибудь представить себе судьбу человека выстоявшего — конечно, плакать будешь. Толстой прав...

— Майя Плисецкая написала на обложке своей автобиографической книги, что хороших людей во все времена меньше, чем плохих. Вы согласны?

— На моем веку хороших было больше, потому что я не имел дела с плохими.

— Что такое в вашем по-

международного класса, рассказывала, как делают женщины парикмахерши. На мисок, киск, крысок и кастрюль. Лучшее разделение, какое я знаю.

— Такое понятие, как «мой тип женщины», знакомо вам теоретически или биологически?

— Это клише, я об этом много писал. Я думаю, что есть какое-то лицо — лицо, как тайна, которая тебя гипнотизирует. Его ищешь, потому что за ним тайна: «Тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты...» Тайна — это в данном случае маска, а значит, и лицо — маска. Был случай замечательный, я вам его, пожалуй, расскажу. Мне одна девушка очень нравилась, я в это время — что редко со мной случалось — год работал в каком-то ведомстве. Я в коридоре ее встречал и всякий раз что-то такое чувствовал. Я был молод и... в общем, по этой части. Чувствовал, но ничего не происходило. Не спи, где ешь. Но вот у меня случился какой-то внезапный адюльтер, и я просыпаюсь утром под незнакомым потолком, на незнакомой подушке, и лицо женщины рядом со мной показало мне на секунду лицом той девушки. Я понимал, что это не она, но это зафиксировалось у меня — момент близости и ее лицо. А через день я встретил эту девушку в коридоре, смотрю друг на друга — и вдруг она густо покраснела. Понимаете, не потому, что я на нее посмотрел, а потому, что происходит нечто, называемое «грешением в мыслях». И это еще был самый безгрешный вариант — то есть я не соблазнался, само получилось... Но это передается всюду, и мы ходим со своей грязью внутри башки, думая, что ничего не происходит, потому что на лбу не написано. А на лбу написано все.

— Если свалить в одну кучу все совокупления, привязанности, романы, — с каким чувством вы смотрели бы на это? Со скорбью? С безразличием?

— Нет, я бы в своей куче мало кого отбраковывал. Нет, нет. Это все было прекрасно.

— В чем вас чаще всего упрекали женщины?

— В жадности. А в принципе... ни в чем они меня не упрекали, пока не доходило до ссоры. А в ссоре уже не упреки, а оскорбления. Перечислить их я не в силах. Если обобщать — главный упрек тот, что я недостаточно чувствую и вижу других людей.

— А какой-то общий упрек женщинам есть у вас?

— Их единственное достоинство и единственный недостаток: они — другие.

падать от веры, — это пространство становилось пустым, черным, материалистическим, страшным, и вдруг ты видел, как тебе подаются знаки, сигналы, в общем, какие-то доказательства...

— Для вас важно, где молиться — дома или в церкви?

— Когда человек молится, молитва будет услышана все равно. Могу молиться здесь, в углу, и буду услышан.

— А в дьявола вы верите?

— Нет. Никогда. Дьявол — самораспадающаяся структура, я в него не верю так же, как в сионский заговор или масонов. Не может быть организованного зла.

— Но бывали страшные минуты, когда вам казалось, что мир выталкивает вас? Когда вам казалось, что лучше умереть?

— Были минуты отчаяния, ужасно омерзения... Но я слишком хорошо знаю — на то Божья воля. Сам я этого не сделаю. Так, чтобы мне жить не хотелось, — это край-

Независимым человеком останется тот, кто от предчувствия чуда напьется раньше и упадет в канаву.

няя степень отвращения, омерзения и уныния. Теперь я это истолковываю как грех.

— Вы радуетесь минутам, когда не думаете, живете минимально?

— Иногда я в этом нуждаюсь. Бывает хорошо выпить, хотя алкоголизм — плохо. Есть бездна способов уходить от реальности — смотреть телевизор, читать детективы, — но накапливается отвращение к себе. Ведь уходить — это значит себя не уважать. И когда начинаешь слишком не уважать — возвращаешься к сознанию. Когда сознание отдыхает — это не значит, что его нет. Оно работает подспудно. Я ничто не считаю потерей времени... кроме уныния.

— Вы кому-нибудь в жизни дали пощечину?

— Мне кажется это таким театральным жестом...

— Представьте, что вы идете по улице и видите автокатастрофу. Кто-то бежит оказывать первую помощь, кто-то — вызывать милицию, кто-то — смотреть... А вы?

— Если не нужна моя помощь, пройду мимо. Я старательно не делаю того, что делают другие.

— Что делает вас счастливым?

— Ощущение чуда. Во время недомогательства собой, во время безнадёжного уныния мне подается знак — и душа жива, и я реагирую на все правильно, и это философия чуда. Я вижу, что — чудо, и счастлив.

— Вы много читаете?

— Я плохой читатель. Если Бог отпустит мне долгую жизнь, я

фото Владимира Персиянова

в любое место, а есть глупость агрессивная, самодостаточная. То есть уверенность, отсутствие движения и сомнения.

— Кто из ныне живущих прозаиков пишет лучше вас?

— Все, кто пишет хорошо, пишут лучше меня. Но мое никто не пишет лучше меня, разве это не ясно...

— Назовите троих, пишущих хорошо.

— Искандер, Петрушевская, Саша Соколов. Но того, что напишу я, они никогда не напишут, — в этом весь секрет.

— Если я своими вопросами затрону какой-то ваш рубец или шрам, вы обидетесь?

— Ваши заботы. Я люблю одну замечательную и ужасную историю. Ранние комсомольцы распатронивали церковь, вытащили за бороду батюшку из храма, стали топтать иконы и стрелять в них из винтовок, — и вожак, прыгая, сказал: ну что, где твой Бог, почему он со мной ничего не сделает? А батюшка ответил: что с тобой еще можно сделать? Так что если вы сами определите себя как хам, что я могу с этим поделать.

— Давно ли у вас не лицо, а маска — маска президента Пен-центра, писателя, друга других знаменитых писателей?

— Что же это у вас за категории

лом, спиритуэл, — где негритянский голос поет: «Господи, Господи, я не готов, возьми меня, когда я буду готов». Человек и живет так, чтобы подготовить себя к этому моменту без позора. Есть такие точки, моменты, — охватывает чудовищный стыд, не дай Бог начинать умирать в такой момент, когда ты по уши в жалкости, нищете, ущербе, позоре... Но и в этот момент, я думаю, Бог протянет руку и ты почувствуешь свою жизнь не такой пустой. А в принципе — в любой момент надо быть готовым.

— То есть вы не протестуете против смерти?

— Почему не протестую? Я боюсь ее хуже смерти. Просто я страх, может быть, презираю больше, чем смерть. Вот последнее, что я написал, это такое «эссе», как это теперь называется, — «Текст как смерть».

— Толстой в последние годы часто плакал от умиления. С вами бывает нечто подобное?

— Вниманию выдающееся событие? Брачная ночь, арест, освобождение, рождение ребенка...

— Рождение детей, смерть родителей.

— У Блока есть слова: «Чтобы по бледным заревам искусства узнали жизни гибельный пожар». Что бы вы старались вынести из пожара жизни?

— Живых людей. Потом — неоконченную рукопись.

— Один мой друг всех женщин делит на проституток и на тех, кто удержался от проституции, но они еще хуже. А вы как разделите?

— Я могу только процитировать. Одна наша приятельница, визажист

Улетающий БИТОВ

Собеседник. — 1996. — № 15. — с. 10

— Вы можете вспомнить эпизод из последнего времени, когда Бог заботился о вас?

— Каждый день.

— И сегодня?

— И сегодня, и всякий раз, когда я открываю книжку на нужном месте.

— Когда вы поймали себя на этом ощущении?

— Я не знаю, все ли это делает Бог, это такое полное обозначение, но есть более рабочее понятие — ангелы... Ловить себя я стал, начав более сознательно верить. Человек, я думаю, рождается верующим. Но вот когда я стал верить сознательно и, стало быть, мог от-

все допишу — текст ведь конечен — и буду читать.

— Представьте себе, что звезды видны только раз в сто лет на три часа. И вам дано их увидеть. Это для вас будет огромным событием или десятистепенным?

— Вычите из ситуации так называемые масс-медиа, с помощью которых все отнесется к этому как к выдающемуся событию. Независимым человеком останется тот, кто от предчувствия напьется раньше и упадет в канаву.

— Простите, если я был резок.

— Принимаю ваши извинения. А прощать... Бог простит.

Олег ЮЛИС.